

Трагедия творчества. Достоевский и Толстой

Критика. Эстетика. Теория символизма: В 2-х томах. Т. 1 / Вступ. ст., сост. А. Л. Казин, коммент. А. Л. Казин, Н. В. Кудряшева.-- М.: Искусство, 1994.-- (История эстетики в памятниках и документах).

[OCR Бычков М. Н.](#)

I

Трагедия творчества или трагедия русского творчества? Всякое ли художественное творчество есть религиозная трагедия или русское творчество, в своем высочайшем и вполне созревшем напряжении, становится трагедией чисто религиозной? Муза, -- любимая женщина, становится Матерью-Родиной, как стала она Родиной для Достоевского, для Гоголя, для Толстого. Но тут... я останавливаюсь: какой неожиданный ответ, что прибавить? Предвестие прошло перед нами с грозным шумом и пением: что это -- весенняя благодатно зашумевшая над нашими сердцами гроза или страшный антихристов соблазн, объявление нового странника, уже почти окруженного сиянием святости? Как неподвижная глыба многие годы над Европой занесенный Толстой каменел вопросом; но он был великой вершиной русского творчества; и к нему присматривались с боязливым недоумением. И вот каменная глыба тронулась, покатилась; уход Толстого от мира -- глухой гром: вопрос разрешился в великую скорбь, ужас и страх за Россию для одних, в благоухающее предвестие, надежду и радость для других. Камень, срываясь и скатываясь, обрастает снегом; лавина растет. И не в Толстом только тут дело. Толстой сидел тридцать лет в тупике: ни назад, ни вперед. Тридцать лет переживал он трагедию творчества. И вот Толстой встал и пошел -- тронулся. Как знать, не тронется ли так же и Россия, тоже больная; как бы грохот лавинный чувствуется нам в движении Толстого: есть тут чего бояться Европе. Не философии западной противопоставляется тут восточная, а сказанному уже слову культуры -- еще не сказанное несказанное слово уже грядущей культуры русской. *Предпоследнее* еще не высказано, о *последнем* уже говорят -- не слишком ли рано?

Русская культура еще не есть наш родимый дом; мы -- бездомны; но русская культура уже давно преподносится нам как чайние. Даже вслух мы не смеем сказать о том, о чем втихомолку мы перешептываемся в углах; самая надежда наша, устремленная к России и высказанная, способна обратиться в пошлость и самонадеянность; и с поспешным высказыванием наших надежд должны мы бороться едва ли не с большим ожесточением, чем с высказыванием наших разочарований.

Ты пойми... Мы ни здесь, ни тут.
Наше дело такое бездомное,
Петухи поют, поют...
Но лицо небес еще темное¹.

И снова, и снова, в темном дыме всяческой провокации, -- снова громкий голос предрассветного петела.

Во всяком случае, как бы мы ни смотрели на то, что вчера было, мы знаем: совершается огромное событие в жизни русской, столь же важное, как крупнейшие события истории, событие, равное Цусиме. "Новая Цусима", -- скажут одни; но найдутся и иные и скажут: "Новое Куликово поле".

Лев Толстой, краса русской жизни, восьмидесятилетний старец, великий писатель мира, перешел все грани в трагедии творчества, вынес трагедию, не упал в эпилептический припадок, как Достоевский, не умер, как Гоголь; с ним русская литература пошла в далекое странствие, к *Новому граду*, ей увиденному. Символический странник, получивший литературное имя, Влас, стал реальным: не дядя Влас ходит в полях русских, нет, туда пошел Лев Толстой. Не смеем мы пускаться в дальнейшее толкование: года, десятилетия будем мы обсуждать случившееся; а ныне мы можем лишь сказать "*аминь*".

И умолкнуть.